
Игорь ГАМАЮНОВ

ЩИТ ГЕРОЯ

Главы из романа

Луна плывет, как круглый щит
Давно убитого героя.

Николай Гумилев

Серый квадрат Степницкого

1.

Бессонница изводила Степницкого. Мешало все: обломок луны, желтеющий за неплотно задернутой шторой; нудно-усталый вой поздних троллейбусов; мельтешащие картинки ушедшего дня — они наплывали, повторяясь, назойливые, как слепни на речном берегу.

И лица, лица кружили над его головой. Равнодушные, высокомерные, усмешливые, они злорадно ждали от него жалких слов, покаянных признаний: да, я такой же, как все, так же лгу близкому человеку, лелею свои подростковые комплексы; воображаю себя, размахивая мечом картонным и прикрываясь таким же щитом, воителем с житейской нечистью — то ли Георгием Победоносцем, то ли еще одной модификацией Дон Кихота; живу по инерции, непонятно — зачем. Понимаю лишь, что ложкой моря не вычерпать, на смену одним разоблаченным и обезвреженным мастерам хапужных дел придут другие: хищные, лживые, цепкие.

Одна из картинок повторялась: длинный коленчатый коридор редакции; из-за поворота, чуть не сбивая его с ног, выворачивается на цокающих каблуках толстуха Волобуева с развернуто трепыхающейся в руках полосой. И — останавливается. Улыбка радостная, почти детская. У нее праздник. В полосе заверстан ее материал про городок Ликинск, где, оказывается, наметились перемены к лучшему. Это, правда, не репортаж и не очерк, а всего лишь беседа, но зато — с самим Ивантеевым! С чиновником-богачом! Осчастливившим редакцию шестизначной суммой! От которой ей, Софье Волобуевой, как автору рекламной акции, полагается десять процентов!

Она, правда, ничего не писала, только как бы задавала Валерию Власовичу вопросы... Ну да, он их не слышал, ну и что?.. Ведь вопросы были вписаны ею в текст... К тому же придумал их ивантеевский пресс-секретарь, который, наверное же, показал начальнику свое сочинение... А может, и не показал, это его проблемы. У нас сейчас свобода слова, можно напечатать все, смеется Волобуева. Например, будто

Игорь Николаевич Гамаюнов — журналист, писатель, автор романов «Капкан для властотлюбца», «Майгун», повестей «Странники», «Ночной побег», «Окольцованные смертью», «Камни преткновенения», «Ошибка командарма», «Однажды в России», «Мученики самообмана», «Свободная ладья» и др., а также рассказов и очерков, публиковавшихся в «Литературной газете», в журналах «Нева», «Знамя», «Смена», «Юность», «Огонек». Работает в «Литературной газете» обозревателем.

НЕВА 3'2014

фикусы в Минсельхозе, стоящие в начальственных кабинетах, сгибаются под тяжестью гигантских яблок, сорт такой вывели... «Минсельхозовский»!.. Ха-ха!.. И редакции за это ничего не будет! Потому что газета за содержание рекламных текстов ответственности не несет... Главное, чтоб это примечание было набрано мелкими буквами, как можно незаметнее, в конце полосы.

Жизнь в мире фикций... Жизнь в режиме безостановочного вранья... Когда была жива империя, этот способ бытия продлевал ей жизнь. Прятал под густым слоем имиджевых красок признаки наступающей дряхлости. Но от гибели не спас. Хотя неуклюжая правда подлинной жизни со всеми ее уродствами уже проступала сквозь имперский макияж. Помпезные съезды руководящей партии были не в силах обеспечить едой, жильем и приличной одеждой уставший от пустых призывов народ, и империя рухнула. Сейчас то, что еще от нее осталось, повторяет ее судьбу. Лживый телемакияж осыпается, но доброхоты вранья не жалеют сил.

Так думал про нынешнюю жизнь журналист Степницкий, мучившийся бессонницей, ощущавший, как с каждым днем то, что происходит вокруг, словно бы размывает твердый остов его бытия, его уверенность в необходимости своего присутствия в этом нелепом мире. И звеневшие в его воображении латы Спартака (тот детский рисунок чудом уцелел в его школьной тетрадке, Влад на него наткнулся недавно, копаясь в своем архиве), и тщательно прорисованный круглый щит, и шлем с боевым оперением, и короткий меч — все это в те мучительные бессонные ночи стало казаться жалким, ненужным, тускло и опадало, как осенняя листва, сорванная холодным ветром.

В одну из таких ночей Влад, забыв посмотреть на часы, позвонил Стасу. Тот встревоженно спросил, что случилось. А услышав про бессонницу, сказал: «Как же ты меня напугал, ведь четвертый час ночи!..» И продиктовал название мягкого снотворного. А с чего бы это все у тебя — поинтересовался. Влад прочитал ему по памяти Тарковского:

— «...Но если я вступаю в дикий спор / Со звездами в часы ночных видений, / Не стану я пред ложью на колени...»

На колени?.. Так далеко у тебя зашло с Настей?.. Ну, ладно-ладно, успокойся, понимаю, не только в ней дело... Но в ком?.. В Елене?.. Да ты хоть понимаешь, с кем прожил тридцать лет?.. Нет-нет, послушай, она же необыкновенная, редкая, удивительная женщина... Да, закрытая, да, «вещь в себе», но это же кладезь доброты и душевности!.. Если б не она, ты бы со своим характером просто не выжил бы, понимаешь?.. Ну, хорошо, если не в этом суть, тогда в чем?.. Нет, все-таки мы неправильно живем, сказал с досадой Стас. Надо чаще видеться. И — разговаривать. Подробно! Детально! Долго! А то ты там забрел в какие-то дебри, а я не знаю. Так куда ты забрел? Говори, говори.

И Влад говорил... Представь себе «Черный квадрат» Малевича. Представил? А теперь вообрази, что черную краску как бы размыло, и образовался серый квадрат. Вот это — мое состояние. Серый тупик. Не черный, как символ конца творчества, краха цивилизации, смерти вселенной, а именно — серый! Ты еще жив, но двигаться уже не можешь. Ты увяз в серой дымке. В ней растворились твоя воля, твоя способность принимать решения, твое ощущение перспективы. Горизонт заволокло!

Я понимаю, говорил Степницкий, мы сейчас обитаем на развалинах отечественного идеализма, на ошметках несбывшейся веры в организованную по универсальной схеме счастливую жизнь. И — на зыбкой иллюзии, будто на этот раз, после крушения мечты, идем «правильным путем». Хотя чувство, что идем по

краю и вот-вот сорвемся в пропасть, знакомо не только мне. Но доминанта состояния общества — нет, не паника... И даже — не тревожная озабоченность... А — веселый цинизм!.. Эдакая рабская насмешечка над собственным бессилием... Признание верховенства и непобедимости враждебных нам обстоятельств...

Даже недавние митинги оппозиционно настроенных пользователей Интернета, вышедших на улицы, поразительно инфантильны... Да, их тоже, как и меня, корежит от официального вранья, они искренне негодуют и в своей интернетной полемике заражают друг друга слепой агрессией, которая ведет только к одному — к смене власти... Любым, в том числе и кровавым, способом... Для чего? Для того, чтобы новые реввоенсоветы, наводя порядок, повторили бы тот же путь, который мы уже прошли?.. Так и будем ходить по кругу?..

В тебе говорит бывший отличник поселковой школы, читавший когда-то со сцены стихи Маяковского, пытался вернуть Влада к реальности режиссер Клишко. Ты жертва пионерско-комсомольского воспитания. Как отчасти и я, признавался Стас. Ведь в те годы, когда наш казавшийся нам незыблемым строй на самом деле тихо потрескивал и рушился, мы, ощутив это, искали конкретного виновника наметившихся бед. А его (прав, прав писатель Вольский!) не было! Он, этот виновник, безличен! Он — сумма исторических обстоятельств. Он — инерция прошлых веков. Наследие крепостничества, которое продлил в России двадцатый век. Да, мы с тобой, извини, и в самом деле страдаем социальным инфантилизмом, каялся режиссер Клишко. Но это, на мой взгляд, лучше, чем впасть в цинизм, погрязнув в самоиронии, которую трудно отделить от самолюбования.

Разумеется — лучше, соглашался бывший судебный очеркист Степницкий, не забывший головокружительного праздника своих побед, вала читательских откликов, одержимости своей, заставлявшей любить редакционную жизнь временами больше жизни семейной, апологетом которой себя считал... Да, лучше, но, понимаешь ли, в свою очередь каялся Влад, сейчас, после всего того, что произошло с нами и со страной, какое воспоминание меня гложет?.. Рождение дочки в те годы было для меня ошеломительным счастьем; снимки моего младенца — ползущего, сидящего, сияющего беззубой улыбкой или смешной гримасой плача — множились в семейном альбоме, на стенах нашей комнаты, над моим редакционным столом; самым занимательным делом для меня тогда было ведение отцовского дневника, куда я вписывал эпизоды Ксенькиного взросления... Издал книжку... Но пришла эпоха взрывных сюжетов судебной очеркистики, и одержимость ею поглотила меня... И вот тебе терзающий мою память эпизод из прошлого: выросшая уже Ксенька то ли в шестом, то ли в седьмом классе схлопотала четвертную тройку по химии (самый нелюбимый предмет), и я, принципиальный отец, считавший тройку оценкой, свидетельствующей о нечестном отношении к своему долгу, наказал дочь... Не только суровой беседой, но еще и запретом — собирать у себя дома шумную компанию одноклассников на свой день рождения... Мол-де, не заслужила праздника... Хорошо, что сам в тот день уехал писать срочную статью — на казенную дачу, не зная, что ребята не вняли моему запрету, пришли с цветами и шуточными проклятиями в адрес «химички», которую Ксенькин класс дружно ненавидел за мелочный педантизм... Вспоминая, поеживаюсь. стыдно, друг мой Стас, быть одержимым... стыдно утрачивать чувство реальности... Одна, но пламенная страсть — самоубийственна, разве не так?!

Ну, не совсем так, уточнял режиссер Клишко, зная, как такая страсть множит иссякающие силы, обновляет душу... Да, конечно, в крайнем своем выражении она ослепляет... Может быть, дело, скорее всего, в том, что мы любим крайности?! В том, что мы жертвы этого пристрастия?.. Кстати, что с твоим сценарием о жертвах

и жертвенности?.. По моим предположениям, ты увяз в теме... А у меня уже есть кое-какие наметки.

...Клубились над спавшей Москвой февральские облака, чреватые новым снегом и новыми холодами. Шла ночь к своему завершению. Но бессонница, одолевшая журналиста Степницкого, теперь овладела и режиссером Климко.

2.

Улица была полна утренней суеты. Пронеслись троллейбусы, гудя с натугой, словно жалуясь на тяжкую участь. Школьный двор, выбеленный выпавшим ночью снегом, пересекали фигурки с ранцами. Золотилась в туманной дымке, меж домами-башнями, маковка церкви. По тротуару, обрамленному высокими сугробами, мелко семенила закутанная в платок бабка, ее тащила на натянутом поводке собака неясной породы, рвущаяся в соседний переулочек. «Похоже, эта зима никогда не кончится», — подумал Влад, допивая у окна кофе.

— Ты уверен, что тебе нужно встретиться с этим несчастненьким олигархиком районного масштаба? — спросила его Елена, убирая со стола посуду.

— Ну, во-первых, не районного, а скажем — областного масштаба, а может, даже и федерального, но хорошо замаскированного. Во-вторых, отнюдь не несчастненького, а довольно успешного, то есть в его понимании — счастливого. И если я не пойду на эту встречу, он сочтет меня последним трусом, неужели не понимаешь?

Нет, все она понимала, видя, как втягивается Влад в новую судебную историю. Хотя совсем недавно утверждал: нужно менять систему, а не чиновников внутри системы... Но тут все сошлось: безгласная и бесправная владимирская вотчина, управляемая московским князьком, искалеченный мальчишка и, конечно же, задевшие мужские амбиции... Как без них!..

— Ну и плюнь на то, кем он тебя сочтет. Кто он такой, чтобы с ним считаться?.. Пусть им занимаются следователи, это их работа, а твое дело — писать.

— Вот именно поэтому и хочу Ивантеева увидеть... Он мне сам по себе интересен: богач, при связях, а суда явно боится... Он же пытался остановить публикацию Сидякина в журнале!.. Значит, догадывается: даже если вина его не будет доказана, попавший под его снегоход Ваня Котков все-таки испортит ему биографию... Одним своим видом — на инвалидной коляске... Особенно если этот сюжет подхватит телевидение.

— А как он узнал, что за статьей Сидякина в «Далях...» маячишь ты?

— Думаю, редакционные доброжелатели подсказали.

...Степницкому вспомнился разговор с главредом, собравшимся в Калифорнию, его предложение (как бы шуточное) вначале «заработать» на рекламной статье про Ивантеева, а потом, получив от него деньги, опубликовать разоблачительный очерк о его пьяных прогулках на снегоходе. Влад резко отстранился от предлагаемой двухходовой операции, и, видимо, главред перед отлетом в Сан-Франциско пересказал все гендиректору. Тот, оставшись «за главного», поручил своей сотруднице Софье Волобуевой разбиться в лепешку, но подготовить в текущий номер рекламную публикацию. Что и было сделано. Волобуева разбавила текст справки вопросами и послала по Интернету Ивантееву, который завизировал свою псевдобеседу, заодно поинтересовавшись у Волобуевой, почему журналист Степницкий отказался от выгодного задания... И — не сотрудничает ли с ним юрист Сидякин?.. А получив от болтливой Софьюшки нужную информацию, понял, что не гарантирован от еще одной критической статьи в каком-нибудь другом, кроме «Сельских

далее», издании. В каком? И не проще ли с этими двумя замшелыми правдоискателями обо всем договориться?

— Но если судом пока не установлена вина лихача на снегоходе, то этот лихач, высокопоставленный и при деньгах, может ведь привлечь за клевету Сидякина?! — предположила Елена, надевая в прихожей дубленку. — Разве не так?

— Так, да не совсем. В журнальном тексте Сидякина нет ни одного категорического утверждения, презумпция невиновности там соблюдена. Но зато сформулированы очень ясные вопросы... На которые должен ответить суд... Ивантеев, я думаю, понимает, к какому решению суд может прийти, и, видимо, встреча со мной ему нужна, чтобы затормозить ход событий.

— А Сидякин с тобой пойдет?

— Он будет неподалеку.

— В роли секунданта?! Прошу только: не впадай в состояние разоблачителя. Не размахивай мечом...

— Картонным?.. Не буду.

— Потому что в наше время это смешно.

— У меня задача — его разговорить.

Усмехнулась Елена, глядя на себя в зеркало, она одевалась в прихожей. Поправила шапку. Повязала по-другому шарф. Скорчила гримасу.

— Так мне лучше? — спросила. — Ну, скажи! Обмани, но скажи!.. Как там у Пушкина: «Я сам обманываться рад...» И я буду рада, — она засмеялась. — Вот и ты, мне кажется, обманываешься. Наивно же предполагать, что опытный чиновник и, судя по всему, удачливый пройдоха в разговоре с враждебно настроенным журналистом проговорится.

— Может, ты и права. Но повидать этого пройдоху надо.

3.

Встреча была назначена в редакционном ресторане. В том самом, куда идти нужно было мимо скопища автомобилей у крыльца редакции, огибая торец здания с голубовато-сизой неоновой вывеской на нем: «Ресторан «Пушкинский»». С аляповатой припиской на фанерной стрелке красным фломастером: «Вход за углом». Ивантеев, вдруг позвонивший Степницкому («У меня есть новая информация по интересующему вас делу...»), пожелал поговорить в неформальной обстановке. И легко согласился на ресторан.

Степницкий зарезервировал столик в дальнем углу, возле кадки с громадным, упиравшимся в потолок фикусом, под внушительной, два на два метра, картиной в тяжелой резной раме, изображавшей голову кудрявого Пушкина, отчеркнутую снизу, у шеи, профилем гусиного пера, напоминающего сизо-металлическим отблеском нож гильотины. Пройти туда можно было, обогнув в центре зала небольшой, выложенный крупными булыжниками бассейн с вяло пульсирующим (как бы — Бахчисарайским) фонтаном.

В этот дообеденный час ресторан пустовал. Проверая, тщательно ли накрыты столы, бродил по залу скучающий метрдотель, одетый в строгий черный костюм, с блиставшей на отвороте металлической бляхой, оказавшейся при ближайшем рассмотрении фирменным значком, — все той же, как бы гильотинированной, головой поэта. Оказавшись у входа, метрдотель встрепенулся, увидев посетителя, напрыгся, склонившись, о чем-то его спросил и, сделав рукой плавный жест, повел вокруг фонтана к фикусу, где сидел со своим эспрессо журналист Степницкий.

Посетитель был невысок, плотен, рыжеват. Да, правая бровь рассечена (быв-

ший мент Сидякин, как всегда, точен в своих изысканиях), но надо внимательно всматриваться, чтобы заметить, так аккуратно закрашен рубец. Сдержанно улыбаясь, Ивантеев сел, положив на стол тугую барсетку, расстегнул пиджачок серо-стального цвета, ослепив журналиста багрово-красным, вольно приспущенным галстуком, спросил, не пообедать ли им. Степницкий отказался, сославшись на поздний завтрак. Ивантеев понятливо кивнул, не стирая улыбки с квадратно-приветливого лица, покрытого золотистым налетом. («Неужели в студию загара ходит? Или — в Египет на новогодние каникулы мотался?» — предположил Влад.) Заказав себе «тоже кофе, только американо, в большой чашке», Ивантеев предупредил метрдотеля, что к нему подъедет пресс-секретарь, его надо привести сюда же.

— А ваш поздний завтрак и ночные сиденья за письменным столом мне знакомы, — продолжал улыбаться Валерий Власович. — Я до сельхозинститута в районной многотиражке работал. Ездил по колхозам, рапортовал то о посевной кампании, то об уборочной...

(«Почти коллега?.. — удивился Степницкий, взглянув на третий от них столик, за которым сосредоточенно пил чай бывший мент Сидякин. — До этого Егор Савельевич не докопался...»)

— Потом в институтской многотиражке публиковался, пока не загрузили комсомольскими делами. Отвечал за самостоятельность. Сам выступал. Молодой азарт так из меня и пер, особенно когда Маяковского со сцены читал: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!..» — Тут Валерий Власович, словно вспомнив детские шалости, легко рассмеялся.

(«Надо же, он тоже любил Маяковского! — подивился Степницкий совпадению. — Хотя — вряд ли. Просто мода была... Неужели учуял во мне бывшего “маяковца”?.. И разве мы с ним из одного поколения?.. Нет-нет, он лет на десять моложе... Племя хоть и не молодое, но мало знакомое...»)

— А еще у нас на курсе обожали Вознесенского: «Уберите Ленина с денег!» Помните? Сейчас забавно, да?.. Смешные были... Да и какими еще нам быть, выходцам из российской провинции... Я родом из Пензенской области... А вы, Влад Константинович, откуда-то из-под Саратова?

— Разведка уже донесла, Валерий Власович?! Оттуда. Из степного Заволжья.

— Из казацкого рода? У меня тоже в роду казаки были.

(«Еще немного, и предложит брататься. Ловок!.. А если бы из дворянского?.. Сочинил бы на ходу новую родословную?» — подумал Степницкий, взглянув из-под фикуса на портрет поэта, лицо которого, как ему показалось, дрогнуло в солидарной усмешке.)

— Я там как-то гостил, удивительные места, — мечтательно сощурился Ивантеев. — Приятель повез в степь на рыбалку, я думал — шутит, кругом полынь да ковыль, никаких признаков воды. А на бугорок въехали, глядь — цепочка бочажков от пересохшей речки, название, если не путаю — Малый Узень, он весной полон, даже течение есть, а летом — стоит. И в этих бочажках — пропасть сазанов, от килограмма и больше, один мне бамбуковое удилище сломал, когда я его тащил... Помните, хорошие в те годы удилища были — из бамбука, легкие!.. А сейчас — из стекловолокна, тяжелые, рука гудит в конце дня... Нет, не всегда прогресс на пользу!..

Он был мастером общения, этот невзрачный чиновник, негласно владеющий почти целым княжеством во владимирских землях. Ведь всех тех районных начальничков, тоже не лыком шитых, кто, поддавшись его снисходительно-обаятельной командировочной болтовне, продал ему по дешевке акции своих предприятий, нужно же было заговорить до смерти. До полной утраты трезвомыслия.

Хотя если деловые разговоры велись по русски — в банной парилке или у рыбацкого костра, то трезвость мысли, конечно же, была близка к нулю... К тому же эта его какая-то детская, располагающая улыбка, это веселое оживление в искрящихся глазах... Обаяние неотразимое!.. Правда, стоит ему посерьезнеть, квадратное лицо становится неприветливо-жестким, в глазах — лед... И он, видимо, зная об этом свойстве своей физиономии, старается без конца улыбаться.

— У меня, если откровенно, детства не было, — в его интонациях прорезалась приятельская доверительность. — Вы литератор, можете представить: пьющий папаша, слесаривший в колхозном гараже, властная маманя, телятницей работала, кроме меня, у нее еще трое ртов, два моих брата и сестра. Я старший, вкалывал с малолетства: матери помогал за телятами ухаживать, на огороде картошку окучивал. А еще с отцом ругался, чтоб не пил.

Ему принесли кофе. Он, наклонившись, вдохнул аромат. Лицо его в этот момент, на мгновение утратив улыбку, приобрело сосредоточенно-суровое выражение. Кивнул официанту:

— Годится.

И, снова заулыбавшись, окунулся в прошлое.

— Конечно, книжки читал запоем... Про графа Монте-Кристо чуть не наизусть знал. Мечтал уехать, найти клад, вернуться на «Жигулях» последней модели — тогда иномарок в провинции не было... И, знаете ли, промчаться по главной улице села, подняв пыль до небес!.. За рулем я уже мальчишкой уверенно сидел: отцов приятель дядя Боря, колхозный шофер, научил.

— Тогда и отметину на бровь посадили?

Передернул плечами Ивантеев, сморщился.

— Зоркий у вас глаз. Нет, это недавний грех, два года назад. Люблю, знаете ли, скорость. Да и какой русский не любит быстрой езды?! — щегольнув известной поговоркой, он засмеялся, довольный своей ловкостью. — А тут довелось сесть за руль гоночной «порше». Не удержался, дал по газам. На повороте не справился, чуть голову не снесло. Зато сейчас в зеркало гляну, и, знаете ли, мороз по коже — от той скорости! Кажется, еще маленько, и взлетел бы. Так и хочется повторить.

— К себе в село на «порше» ездили?

— Нет, туда я на первом своем автомобильчике мотался, на подержанном БМВ. Но до него столько всего пережил. Студентом почти голодал, подрабатывал в Пензе дворником, со стройотрядами на заработки в Казахстан ездил... Потом — общественная работа... Такая, знаете ли, морока!.. Комсомол, вы же помните, действительно был школой, но только не — «школой коммунизма», как тогда говорили...

Саркастическая тень мелькнула в улыбке Ивантеева.

— ...На самом деле это была просто неплохая школа управленцев... Менеджеров, как сейчас говорят... А в девяностые меня занесло в бизнес, тогда и бээмвэшку купил. В те годы, скажу я вам, приключения у меня были почище монте-кристовских, на роман с продолжением хватит... Тогда я и фермерское хозяйство, первое в районе, организовал, бываю там каждую весну... С сыном... Чтоб корни свои помнил... Жена?.. Она у меня тоже бизнесом занялась — здесь, в Подмосковье... Я вам все это рассказываю, потому что привык быть полезным людям. И если вас как журналиста-литератора такой материал заинтересует, готов потратить пару-тройку вечеров... Тут — я уж раскрою вам все свои карты — возникла идея у моих соратников выдвинуть меня в депутаты Госдумы, и небольшая брошюрка с фотоснимками про мой трудовой путь была бы очень кстати. Причем условие такое: гонорар вы назначаете себе сами! Обещаю, торговаться не буду...

4.

Вот так, не церемонясь... Упрямого быка — за рога... Не ждал такого предложения Степницкий!.. Ошеломленно молчал, всматриваясь в собеседника. Да неужели Ивантеев не догадывается, что перед ним занудливо-заклиненный человек с застарелыми убеждениями и серьезным компроматом, способным если не остановить, то сильно притормозить его, ивантеевскую, карьеру?.. А если догадывается, то на что расчет?.. Может быть, Валерий Власович верит, что этот потрепанный жизнью, уставший от газетной суеты журналюга в конце концов перешагнет через свои, смешные сейчас, убеждения, отодвинув их в разряд заблуждений, благополучно обменяет свой компромат на сумму, которую сам себе назначит, став навсегда его, ивантеевским, соратником?.. Ведь брошюра о будущем депутате — это пропуск в другой мир, там маячит конвейер по изготовлению такого рода книг, и как следствие этого конвейера — банковские счета, недвижимость в ближнем Подмоскovie, регулярные зарубежные командировки и прочие земные блага!.. Вот ведь странность, думал Степницкий, рассматривая Ивантеева, неужто в его опыте общения с разными людьми не было осечек? А может, его предложение — всего лишь провокационный блеф?..

— Но вначале я бы хотел понять, как вы относитесь к тому, что произошло в деревне Цаплино прошлой зимой.

Улыбка ушла с квадратного лица Ивантеева. Сейчас оно стало похожим на отчужденно-застывшую маску.

— Там был несчастный случай: мальчишка на лыжах въехал под мой снегоход. Получил травму. Следствие подтвердило мою невиновность. Да вы это все знаете, ваш коллега из журнала — мне рассказывали — приезжал, интересовался.

— После чего на него в электричке было совершено нападение, из его рук вырвали сумку с документами.

— Ну, мало ли сейчас у нас нападений?! Да еще в электричке... И если только оно не придумано, то вряд ли имеет отношение к цаплинскому делу. К тому же у родителей мальчишки нет ко мне претензий. А инвалидную коляску новой конструкции им на днях доставят. По моему распоряжению. Что совсем не значит, будто я готов признать за собой хоть какую-то вину...

Он снова заулыбался, как бы извиняя своей улыбкой заблуждения собеседника.

— ...И неужели вы думаете, что суд, к которому корреспондент подталкивал родителей мальчишки, нашел бы в этом случае какую-то мою вину? Или вам просто зачем-то нужен этот скандал? Зачем?

Понимал журналист Степницкий: нет смысла быть откровенным с человеком, только что пытавшимся купить его литературские услуги. Но накопившееся раздражение последних дней требовало выхода. И Влада, как это с ним бывало, несмотря на предупреждения жены, *повело*.

— Нужен не скандал, нужна — правда, — отчеканивал он, внутренне содрогаясь от металлических звуков собственного голоса. — О том, что вы там, в своей вотчине, безраздельный хозяйчик. К тому же — совершенно безответственный. Я не говорю сейчас об истории с несчастным лыжником, это дело суда. Я о том, что у вас там люди живут в ситуации средневековья: газа нет, за водой — к колодцу. Доярки работают на износ, а зарплаты копеечные. Пожаловаться некому, все начальство повязано взаимными услугами, а до главного акционера, то есть до вас, Валерий Власович, не доберешься, вы в Москве. С газификацией жителей этого района грубо обманули — собрали деньги и ничего не сделали под предлогом: кто-то украл

трубы... Поэтому сельские жители и бегут в город за заработком и за сносными условиями существования... А у единственного в этих местах фермера прошлым летом усадьбу сожгли...

И чем больше Влад говорил, распаляясь, тем спокойнее и улыбчивее становилось лицо Ивантеева — он приветливо кивал Степницкому, словно подтверждая правоту каждого его обвинительного тезиса, мельком, скользнув взглядом по фигуре и портрету поэта, осмотрел пустующий зал с одинокой фигурой любителя чая за третьим от них столиком (этого любителя он заприметил сразу, как только вошел), терпеливо ждал в монологе своего собеседника паузу. И — дождался. И — вклинился. Горячо, почти восторженно.

— Да, Влад Константинович, вы все точно подметили... Это и в моей предвыборной программе есть: повышение зарплат, и не только дояркам. Газификация всех сельских поселений. Укрепление правопорядка. Фермеру поможем — ссудой на строительство дома. Кстати, вы упомянули колодцы. Мы же планируем поднять водонапорные башни, водопроводные колонки поставить. А то ведь в некоторых селах вода в колодцах к концу лета зацветает. Так что я вам буду только благодарен, если вы — вместе со мной — возьмете эти вопросы под свой контроль.

«Виртуоз! — восхитился изумленный Степницкий. — Он хочет разделить со мной ответственность за собственную бездеятельность!..»

— А что вам помешало осуществить свой замечательный план до встречи со мной?

— Обстоятельства. Вы же знаете, что такое наша сельская провинция...

Он говорил о провинции минут пять, безостановочно, тоном лектора, который настриг текст своего сообщения из газетных фраз. Этот словопоток убаюкивал перечислением непреодолимых климатических и прочих других трудностей, переносил Степницкого в те далекие годы, когда начальство, отчитываясь на совещаниях, обрушивало на головы слушателей водопады демагогии и вранья. Ему вспомнилось, как он в семидесятые, наивно пытаясь писать *«правду, и только правду»*, вдруг упирался в нелепые запреты... О том, что неубранная капуста ушла под снег, писать было нельзя, это подрывало веру в существующий порядок... Об отсутствии в магазинах продуктов — тем более... Вначале Степницкий не понимал: почему?.. Ведь правда исцеляет... Но однажды газетное начальство показало ему две разные информационные странички, пришедшие по телетайпу из ТАССа: одна с обычным грифом, с отцеженными фактами для публикации, другая без грифа, «белая», с примечанием: «для служебного пользования», в ней было и про капусту, и про пустые полки.

Всю правду мог знать, оказывается, только узкий круг людей. Тех самых, которые перед праздниками тащили домой тяжелые сумки с продуктовыми заказами, полученными в редакции... Плату за молчание... Точнее — за умолчание... В лицах этих газетных молчунов было нечто общее — выражение сытых лакеев, утаивавших «нехорошие» факты жизни от народа. По долгу службы. Мучительнее всего в этом внезапном воспоминании была подробность: он тоже таскал домой сумки с продуктовыми заказами. И оправдание у него было, как у всех: не оставлять же семью без продуктов.

Степницкий слушал сейчас Ивантеева с жутким ощущением, будто время откатилось почти на три десятка лет назад, породив клоны прежних начальников, привычно говорящих о «некоторых шероховатостях» нашей жизни, о том, что совсем скоро «все проблемы будут решены»... Вот сидит напротив один из них... Разница между теми и этими лишь в том, что у этих, нынешних, высятся в заповедных лесах Подмосковья не какие-то там жалкие казенные дачки, а собственные роскош-

ные дворцы. И — копятся счета в кипрских банках. Да еще растет с каждым днем уверенность в том, что с *этим народом*, живущим в *непреодолимых климатических условиях*, можно делать, что захочется, он привык к бесконтрольной власти, именуемой «сильной рукой». Мало того, он все невзгоды своей жизни списывает не на неумелость и безответственность руководителей, а на *недостаточную жесткость* той самой «руки».

— Но перечисленные вами, Валерий Власович, обстоятельства не помешали вам построить в Цаплино роскошный двухэтажный дом с автономным электропитанием, отоплением и высоким забором.

— А вы считаете, что я, приезжая туда отдохнуть, должен жить в крестьянской избе?

Кажется, самообладание начало изменять Ивантееву, напрочь стерев улыбку с его лица.

— Да, считаю. Пока жители подведомственных вам деревень живут в состоянии средневековой нищеты.

— То есть вы хотели бы всех уравнивать — работающих с лентяями и пьяницами? И снова раскулачить богатых? — в глазах Ивантеева прорезался насмешливый льдистый блеск.

— Я бы хотел, чтобы у нас не было бедных.

— Мечта журналистов, витающих в облаках, — змеистая усмешка поползла по квадратному лицу Ивантеева. — Ведь для того, чтобы не быть бедным, надо как следует работать. Тут вам не социалистическая уравниловка, а самый настоящий капитализм, батенька. А вы, видимо, размечтались о капитализме с медово-сахарным социалистическим лицом?!. — засмеялся Ивантеев, довольный собственным каламбуром. — Напрасно! Но тут вот такая проблема: народ наш не привык еще к рыночной экономике. Не умеет работать.

— Да, с народом нам не повезло... Известный тезис... Придумали его чиновники... Из разряда тех, которые хотят побыстрее нахапать да свалить за рубеж... Для чего и построили не капитализм, а самый настоящий феодализм...

— По-моему, вас, журналистов, пора лечить от ненависти к чиновникам. Вы хоть знаете их проблемы? — Ивантеев уже не скрывал своего раздражения. — Да начни они сейчас работать в соответствии с тягомотными нашими инструкциями, жизнь в стране остановится!.. И если совсем уж откровенно, как говорилось раньше — не для печати, — Ивантеев язвительно хохотнул, передернув плечами, словно собираясь нанести оппоненту удар «поддых», — только не падайте в обморок: я бы легализовал мелкие взятки. Их избежать невозможно! А тех, кто разбогател, используя преимущества рыночной экономики, представлял бы к ордену! Чтоб все лентяи видели: жить нужно здесь и сейчас... Не откладывая удовольствия на неизвестное «потом»... Да-да, строить себе роскошные дома, покупать гоночные автомобили, ездить на заграничные курорты, не отказывая себе ни в чем... Понимаете?.. Ни в чем!..

— И вас не коробит соседская нищета за пределами вашего забора?

— Нет, не коробит, — жестко усмехнулся Ивантеев, уставший, видимо, от бесполезной вежливости в дискуссии с упрямым оппонентом. — Каждый должен получить от жизни свой пинок под зад, раз заслужил. И нечего жалеть всех этих неудачников.

— Даже тех, кто попал под каток обстоятельств? Кто оказался без работы?

— Даже тех. Слабым возле нас не место.

Висевшая на стене, возле фикуса, картина, изображавшая отсеченную гусиным пером голову поэта — показалось Степницкому, — ожила. Поэт, который два столе-

тия назад «милость к падшим призывал», с изумлением всматривался в человека, никакой милости не признающего.

И в этот момент у фонтана возник метрдотель. Он вел к их столу долговязого очкарика в спортивной куртке, с разбухшим, оттягивающим руку портфелем.

— Мой пресс-секретарь, — со вздохом облегчения представил его Ивантеев. — Он готов показать вам наши материалы.

Краем глаза Степницкий заметил, как тревожно шевельнулась за дальним столом фигура человека, только что закававшего третью чашку чая. Окликнул его. Тот легко поднялся, подошел.

— А это наш юрист. Он готов изучить ваши материалы.

Сощурившись, Ивантеев взглянул на Егора Сидякина.

— Уж не тот ли юрист, что ходил по домам в деревне Цаплино? Готовил народ к новому следствию?

— А вы думали, что, разбогатевав, возьмете под контроль и судебную власть?

— Ну, не будем раньше времени ссориться, — снова засветился лучезарной улыбкой Ивантеев. — Поизучайте наши бумаги. Обдумайте все.

— Поизучаем, — ответил ему Степницкий.

Было ясно: не предвидя компромисса, Ивантеев хочет только одного — оттянуть время.

5.

Что-то странное происходило в редакции. Никто толком не знал, где главред, даже всеведущая хозяйка его приемной, секретарь-референт Вероника Павловна. Все еще в Сан-Франциско? Или вернулся, но почему-то не появляется в редакции? Догадывались, что Вэ-Пэ (так за глаза называли секретаря-референта) все-таки кое-что знает, но по какой-то не менее загадочной причине молчит.

Планерки проводил гендиректор Вениамин Кузьмич, обозначивший нынешнюю свою должность в выходных данных «ПиЖа» так: «Гендиректор — и. о. главного редактора». Он заметно изменился: в его жестах и походке (особенно, когда не торопясь перемещал свое большое раздобревшее тело в совещательную комнату на летучку) появилась многозначительная вальяжность: расстегнутый пиджак, небрежно приспущенный полосатый галстук, модная небритость... Некогда ему бриться и галстук подтягивать... Дел невпроворот... Разговаривает, глядя поверх головы собеседника сквозь круглые очки, похожие на чеховское пенсне. Все конфликтно-проблемные вопросы решает, произнося одну и ту же фразу: «Если руководствоваться интересами редакции...»

Изменилась и его ведающая рекламой сотрудница Софья Волобуева. В ее плотной, выпирающей округлостями фигуре появилась начальственная статья, а в интонациях, когда-то угрожающе-плачущих, прорезались отдающие металлом командирские нотки. Она ходила по кабинетам с яблоком в руках, вгрызаясь в его витаминную сердцевину, и в промежутках между жевками отдавала распоряжения Вениамина Кузьмича, осыпая собеседника яблочными брызгами. Теперь каждый сотрудник обязан был в течение месяца подготовить две рекламных публикации. Любое возражение Волобуева требовала изложить на бумаге и, если кто-то на это решался, выхватывала листок с радостным сиянием на щекасто-круглом лице, восклицая: «А теперь у нас есть письменное доказательство нарушения вами трудовой дисциплины! Готовьтесь к увольнению!»

Ее пробовали урезонить. Посылали к гендиректору ходяков, но те возвращались ни с чем: гендиректор был не просто доволен деловой хваткой и неиссякае-

мой энергией Волобуевой. Он ее обожал. Это стало заметно, когда Волобуева как-то начала на планерке распекаать ответсека Павла за неправильный, на ее взгляд, макет рекламной полосы, не дослушивая, обрывала его объяснения, а Вениамин Кузьмич, покачиваясь в вертящемся редакторском кресле, любовался ею. И — кивал, подтверждая правоту каждого ее слова. При этом его мясистое лицо светилось умилением и гордостью. Ведь это он, именно он выявил организаторские способности у никчемной, казалось бы, сотрудницы! Можно сказать — талант лидера, склонного к руководству трудовым коллективом! И то, что она, бывает, срывается на крик, лишь говорит о ее выдающемся темпераменте! О ее сокрушительном, женском обаянии!

А однажды проходившие по коридору мимо кабинета гендиректора (он из суеверия не спешил перебираться в просторные апартаменты отсутствующего главреда) услышали ее угрожающе-пронзительный голос за неплотно закрытой дверью. Весть эта немедленно разнеслась по всей редакции: Софья уже повышает голос на своего шефа! Ждали, когда он ее уволит. Но время шло, а Волобуева продолжала обходить сотрудников и, хрустя яблоком, давать им задания, уточняя: «Кузьмич именно вам просил передать...» Теперь в смешливые минуты сотрудники «ПиЖа» обращались друг к другу, произнося эти слова с «волобуевской» (высокомерно-небрежной!) интонацией: «Кузьмич именно вам просил передать, что вы уже уволены».

Таких минут было все меньше — тревожные слухи бродили по коленчатым коридорам редакции. Все ждали серьезных перемен. Поговаривали, будто главред наконец остался в Сан-Франциско, где осели в русской диаспоре его давнишние друзья и куда перебрался из Лондона его сын. К этому главреда будто бы подтолкнул конфликт с кем-то из совета директоров корпорации, владевшей контрольным пакетом акций еженедельника «Писатель и жизнь».

Гадали: назначат ли нового главреда или оставят на этом посту Вениамина Кузьмича, убрав приставку «и. о.». Редакционный остряк Кризин настаивал на последнем варианте, уточняя что на освободившееся место гендиректора он бы посадил Софью Волобуеву. «Больше некого!» — с трагически обреченным выражением лица утверждал Кризин.

А спецкор Семкин, прозванный из-за своей пылкой оголтелости Бесноватым Киллером (он опубликовал недавно очередную статью, разоблачающую затаившихся вредителей в издательском деле, после чего названного в газете пожилого издателя, как сообщили оттуда телефонным звонком, увезла «скорая» с приступом стенокардии), вдруг стал носить такой же полосатый галстук, как у Вениамина Кузьмича, щеголять небритыми щеками и, останавливаясь в коридоре Софью Волобуеву, хвалить ее новую кофточку и новую прическу.

На последней летучке Вениамин Кузьмич произнес длинную речь. Из нее следовало: корпорация уже не в состоянии содержать еженедельник «ПиЖ», и потому он переходит на самокупаемость. Надеяться на выручку от продажи нет смысла, интеллигентный читатель, которому адресована газета, обнищал, повышение цены только отпугнет его. Выход? Рекламные публикации. Такие, как в вышедшем номере.

Исполняющий обязанности главреда похлопал пухлой ладонью по развернутой на его столе газетной странице. По тексту, оплаченному Ивантеевым. По его портрету, помещенному возле кричащего заголовка: «Ликинские дали зовут!..» И предложил вывесить эту полосу на «Доску лучших». А Софью Волобуеву, подготовившую материал, наградить — помимо положенного ей гонорара — денежной премией. В размере оклада.

И тут же в другой руке Вениамина Кузьмича оказалась кипа листов, которыми он потряс над столом, прежде чем произнести ставшую крылатой фразу:

— А с этими отказниками от рекламы я поговорю отдельно!

Траурная тишина наступила в совещательной комнате.

Тишина эта длилась недолго. Обозреватель Вольский, задумчиво смотревший поверх голов собравшихся в окно, в котором сгущались ранние сумерки, вдруг произнес, негромко кашлянув:

— Что-то зима нынче необычно длинная, вы не находите, Вениамин Кузьмич?

Исполняющий обязанности выпрямил спину, став шире и выше, будто его поддули струей сжатого воздуха, сцепил на столе руки, впился пристальным взглядом в лицо писателя Вольского:

— Вы это к чему?

— Да все к тому же, — мечтательно сощурился Евгений Николаевич. — Снегу много выпало. Вот я и подумал: может, отправить отказников с лопатами улицы чистить? Вместе с таджиками. На трудовое перевоспитание. А то, ишь, писать, видите ли, они умеют, а добывать рекламу — нет. Сразу научатся!

— Вы все шутите, — поморщился Вениамин Кузьмич, перебирая листки с объяснениями сотрудников, — а между тем здесь и ваш отказ фигурирует.

— А я уже и лопату с собой привез, меня с ней в метро еле пустили.

Взрывной смешок пополз вдоль совещательного стола. Даже Коллекционер Гриша, не сдержавшись, хихикнул. Лишь Молчун — Брызгалин — сидел, сгорбившись, буравя взглядом стол, не желая участвовать в этом никем не санкционированном веселье, которое неизвестно чем закончится: слух прошел — гендиректора со дня на день должны назначить главредом.

— Но вы же понимаете, что без рекламы мы не выживем?! — Вениамин Кузьмич заметно нервничал, в его баритоне слышались дребезжащие нотки.

— С такой, какая опубликована в вышедшем номере, — вмешался Степницкий, — мы станем лакейским листком, которому все равно, кому прислуживать.

— То есть что вы имеете в виду?

— А то, что прославляемый нами чиновник Ивантеев — хапуга, демагог и преступник. Будучи сильно навеселе, он искалечил мальчишку, наехав на него снегоходом, от наказания ушел, подкупив следователя. Сейчас рвется в депутаты, чтобы получить неприкосновенность и обезопасить свои махинации.

— Откуда вам все это известно?

— Наш внештатный юрист-разработчик Сидякин подготовил материал. А с Ивантеевым я недавно виделся. Его все-таки будут судить, мы этого добьемся.

— Вот после суда и вернемся к этому разговору, — торопясь «закрыть тему», сказал Вениамин Кузьмич, выбивая по столу нервную дробь толстыми пальцами.

— А пока будем лакействовать?

— Степницкий, выбирайте выражения!

... Нет, выражений он выбирать не хотел.

Надоело.

Устал.

6.

Искрилась на солнце мартовская капель. Срывалась с крыш. Звенела и пела. Но журналисту Степницкому слышались в ее пении тревожные нотки. Он чувствовал: надвигалось что-то такое, что должно круто изменить его жизнь. Или даже — оборвать ее. Возможностей такого исхода было немало. Тому же богачу Ивантееву с его разбухшей от денег и банковских карточек барсеткой (она после встречи в рес-

торане, лежавшая на столе, как затаившийся зверь, часто мерещилась Владу), нанять опытного стрелка ничего не стоит.

Да что Ивантеев, тут без его вмешательства легко можно отбить к праотцам, угодив, например, под сползающую с крыши ледяную глыбу. Вот только что одна такая, звонко лопнув, грохнулась на тротуар, рассыпавшись на острые осколки у самых ног Степницкого. Если бы он здесь не замедлил шаг, услышав мелодию своего мобильного, лежал бы сейчас на тротуаре с проломленным черепом.

Звонила Елена. Спрашивала, не знает ли он, что идет в ближайшую субботу в «Современнике» — давно никуда не выходили, нужно развеяться. Бомбовый треск упавшей глыбы на секунду заглушил ее голос, и она спросила, не начались ли «там, у вас, на Сретенке», военные действия. Не стал пугать ее Влад драматическими подробностями, сказал лишь, что это таджики-дворники так шумно сдирают скребками тротуарную наледь. Подумал: «А ведь ее звонок, кажется, спас мне жизнь».

И тут же обожгла мысль о Насте: а с ней что? Почему не звонит? Вторую неделю ее мобильник не подавал признаков жизни. Решила прекратить отношения? Но разве так можно? Разве нельзя остаться друзьями? Он звонил ей и по городскому, но и этот телефон молчал. Наконец там сняли трубку. Низкий голос с хрипотцой, не понять — то ли мужской, то ли женский, объяснил: девушки съехали. Куда? Не сказали. Одна замуж выскочила за какого-то вдовца, другая в актрисы подалась. Этой вроде бы в общежитии койку дали.

— А вы-то кто им будете? — поинтересовался голос.

— Просто друг.

— Ну, раз *просто*, значит — никто, — сердито прозвучало в трубке, и тут же в ней запикали короткие гудки.

Он узнал телефон общежития театрального училища. Позвонил на вахту, назвал фамилию. Да, такая значит, но не живет. Уехала. Куда? И надолго ли?

— Вы что, думаете, они нам докладывают?.. Может, на съемки, может, в турпоездку с каким-нибудь пожилым спонсором, — тут в трубке раздался веселый смешок. — Так что опоздали, молодой человек!

В разговоре со Стасом Клишко осторожно пытался выяснить, не вовлек ли он ее в очередные съемки. Нет, не вовлек. Но как-то был в училище на студенческом спектакле по Чехову, профессор позвал, там была занята Настя. Ее монолог «Я Чайка» прошел на аплодисменты. «Очень органична... Вписалась в характер... А почему тебя не пригласила?» — «Видимо, не дозвонилась».

Влад пытался убедить себя: все кончено, сюжет завершен. Он больше не нужен Насте. У нее теперь своя, отдельная от него жизнь, а то, что с ними прошлым летом случилось, вскоре станет только воспоминанием. С годами тускнеющим. В конце концов его вытеснят другие события. Во всяком случае у талантливой Насти ее киношно-театральная карьера наверняка будет похожа на праздничный фейерверк.

Он почти убедил себя в этом, а еще в том, что и ему, Владу Степницкому, уже не очень-то нужна эта беспокойная девчонка, лукавая врунья, случайно к нему прикипевшая. Ведь если бы ей (или ему) достался билет на другое место в автобусе, и они не оказались рядом, локоть к локтю, и автобус Москва–Муром не попал бы в грозу, испугавшую Настю, (заставив ее рассказать горестную историю своей недолгой московской жизни), и не застрял бы в пробке у перекрестка, где случилась авария, и не пришлось бы им под дождем топтать до автобусной остановки, а потом ехать в ближайшую деревню и ночевать в доме Настиных родителей, на террасе, под неумолчный лепет тополиной листвы, сквозь которую проблескивали июль-

ские звезды, — ничего бы не было. Ни коротких свиданий, ни удачной съемки в фильме Стаса Климко, ни театрального училища, ни ощущения, что он, Влад, творит чью-то судьбу... И они оба даже не знали бы о существовании друг друга!.. Так уговаривал он себя, но тревога не отпускала: где она? Почему молчит? Вдруг на этот раз действительно заболела?

Звенела капель в Сретенских переулках. Скрежетали по наледям скребки таджиков-дворников. На мраморных ступенях офиса, где работали сердобольные защитницы бездомных животных, толпились ленивые всклокоченные псы в ожидании привычной в это время горячей пиццы из соседнего «Макдональдса». Голубело небо над старыми крышами. Золотилась над ними маковка церкви.

Миновав скопище автомобилей, Степницкий поднимался по редакционным ступеням, когда снова зазвучал его мобильник. Нет, это не жена. И не Настя. Это Сидякин.

— Статья вышла. Вам привезти журнал?

— Не надо, я сегодня зайду в «Сельские дали», возьму. Какие-то еще новости есть?

— Есть.

— Я у дверей редакции. Поднимусь к себе и перезвоню, ладно?

Выходя из лифта, на площадке седьмого этажа, у диванчика, где всегда кучковался редакционный народ, он услышал тонкий, с переливами, смех писателя Вольского и басистый голос Молчуна-Брызгалина, впавшего в свое обычное, коридорно-исповедальное состояние — с неуклюжей жестикуляцией и блуждающим взглядом. На этот раз он возмущался примитивизмом последних публикаций «ПиЖа».

— Да ведь почти вся пресса такая! — давился от смеха Вольский, очень уж нелепой казалась ему фигура коридорного оратора.

— И ничего смешного! Это же типичный агитпроп прошлых лет! — восклицал Брызгалин, угрожающе наступая всем своим почти двухметровым корпусом на невысокого, язвительно улыбавшегося собеседника. — Или вам, писателям, все равно, что происходит с писательской газетой?

— Нет, не все равно. Но об этом надо говорить на планерке! — советовал Брызгалину Вольский, на всякий случай пятась.

— А смысл? — скорбно возражал Брызгалин. — Все равно ведь ничего не изменится! Ни-че-го!

— Ну раз так, — дружелюбно кивал Вольский, — будем сотрясать коридорный воздух!..

Возле них топтался Бесноватый Киллер — Семкин. Он пытался обратить на себя внимание, но его реплики повисали в том самом коридорном воздухе без ответа.

С ним неохотно вступали в разговор, слишком одиозной была история возникновения его клички: как-то главред, давая ему задание, оговорился: «Критикуйте, но без фанатизма». Семкин истолковал это как намек наоборот — пуститься во все тяжкие: его очередная глумливая статья состояла из ничем не подтвержденных топорных обвинений, обрамленных примитивно-пафосной публицистикой. На летучке о ней выразились деликатно: «Написана непрофессионально, с перекосами», но главред ее похвалил: «А мне кажется — свежо!.. Какая-то новая непримиримая интонация в газете появилась». И Семкин решил, что он в журналистике первопроходец. Отвергая все замечания, отвечал: «Вы судите о моем новаторстве с точки зрения замшелого консерватора». — «А вы, видимо, судите о себе с точки

зрения своей бесноватости», — сказала ему однажды вышедшая из себя корректор Зоя, пришедшая к нему с вопросами по его полосе.

С тех пор кличка «Бесноватый» прилипла к нему намертво. Его сторонились, но он был настойчив. Вот и сейчас, увидев выходящего из лифта Степницкого, схватил его за рукав.

— Представляете, — стал жаловаться, — мне звонят, сообщают, главврач, которого я в прошлом номере раскритиковал, умер вчера в реанимации! Сердце не выдержало! Меня стыдят, а я-то при чем?

— Это его вы назвали «врачом-вредителем»? — вспомнил Степницкий.

— Просто метафора! Всего-навсего!

— За такую метафору можно и по физиономии схлопотать. Вас судить надо за клевету, — вырывая рукав куртки из цепкой его пятерни, сказал Степницкий.

— Завидуете! — крикнул ему вслед Семкин.

Нет, не жаловался Семкин, он, как это с ним часто бывало, пытался лишь похвастаться необыкновенной эффективностью своей публикации, облекая свое хвастовство в жалобу. Конечно, ему завидуют. В грехе зависти Семкин подозревал всех, кто плохо отзывался о его статьях. Может быть, поэтому он всегда был настороже и улыбался слегка кривовато, одной стороной рта — так, что казалось, будто собирается укусить.

В тесном кабинете — Степницкий называл его «чуланчиком» — пахло пылью и старыми газетами, тяжелой кипой лежавшими на подоконнике. В узком, похожем на бойницу окне видны были проржавевшие крыши Сретенки с дотаивавшими на их карнизах сугробами, превратившимися в сползающие смертоносные глыбы. Влад вспомнил, что каких-то четверть часа назад он чуть было не стал мишенью для такой ледяной бомбы, разорвавшейся у его ног на мелкие осколки, и — содрогнулся. И тут же засмеялся своему опоздавшему испугу. «Не-ет, смерть нас пока пождет, она дама терпеливая», — пробормотал он любимое свое присловье и набрал номер Сидякина.

— Чем порадуете, Егор Савельевич?

— Начать со скучного? Или — с веселого?

— Со скучного.

Педантичный Сидякин, оказывается, еще раз полистал увесистую пачку документов, переданных ему в ресторане прес-секретарем Ивантеева. И окончательно убедился в их бесполезности: это были набитые цифирью справки об успехах предприятий Ликинского района, чьими контрольными пакетами акций владел Валерий Власович. Судя по их аляповатой небрежности, невыправленным опечаткам и странным, скорее всего взятым с потолка цифрам, это была фальшивка, изготовленная наспех, для газетчиков, согласившихся освещать его избирательную кампанию. Были среди этих бумаг и забавные: «тезисы к биографии», перечисление «трудовых заслуг» кандидата в депутаты и даже наброски очерка о его нелегком детстве и боевой комсомольской юности — все для облегчения рекламно-имиджевых усилий ленивых писак.

А нескудное Сидякин привез из Пензы, куда ездил от журнала «Сельские дали» в командировку — писать о фермерах. Заодно, побывав в родных местах кандидата, пообщавшись с его дальними и близкими родственниками, узнал: там вместо ликвидированного колхоза имени Ленина несколько лет назад возникли пять фермерских хозяйств. Но они как-то очень уж быстро разорились. Выжило одно, принадлежащее ивантеевскому семейству. Теперь каждую весну Валерий Власович приезжает дня на два в родные края с женой и сыном, оповещает районных журна-

листов, собирает народ, влезает в кабину трактора и, орудуя рычагами, под организованные аплодисменты односельчан открывает посевную кампанию... Такой вот пропагандистский ход!..

За этой ширмой на самом деле происходило то, о чем в первые годы фермерского движения жители села без конца писали в Пензу и даже в Москву — жаловались: именно он, Ивантеев, пользуясь минсельхозовскими связями, разоряет своих соперников, удушая их непомерными процентами на взятые кредиты. Сам же исхитряется пользоваться кредитами беспроцентными (в областном отделении банка у него была зазноба, все это умело оформлявшая).

В конце концов разоренные смирились. Кто-то уехал в другие края, кто-то пошел к Ивантееву работать — механизаторами или бригадирами, и его разросшееся фермерское хозяйство стало походить на прежний колхоз. Руководство хозяйства расположилось в том же типовом двухэтажном здании, где в прежние годы было правление колхоза имени Ленина. Когда готовили новую вывеску, хотели было лишь поменять слово «колхоз» на «фермерское хозяйство», но по совету районных властей все-таки назвали «акционерным обществом».

— А чьего теперь имени? — спросил Степницкий.

— Только не смейтесь: имени Петра Аркадьевича Столыпина. Он же еще при царе организовал фермерское движение, которое пресекли большевики своим раскулачиванием!

— Да за такое издевательство царский премьер-министр отправил бы Ивантеева на виселицу!

— В том-то и фокус, что Валерий Власович тут как бы ни при чем. В правлении хозяйства, конечно, сидят его проверенные люди, среди них — двое его братьев. Но контрольный пакет акций записан на его пожилую маму. Она же — председатель правления.

— Шутите, что ли, Егор Савельевич? У него же мама телятницей работала!

— А теперь председатель правления большого фермерского хозяйства. Дело в том, что Валерий Власович, как я выяснил, человек патологически подозрительный, мстительный, не прощает обид. И никому не доверяет, даже братьям, с которыми без конца ссорится.

— А маме доверяет?

— Она уже очень пожилая. И, говорят, рассудительная. И возле нее всегда один из ее трех замов, назначенных, разумеется, Ивантеевым.

— Сколько ей?

— Не падайте со стула: старушке восемьдесят лет!.. Но в уставе хозяйства нет ограничений по возрасту.

— Дайте опомниться, Егор Савельевич. Судя по всему, вы приехали из какого-то салтыков-щедринского угла России.

— Боюсь, это не угол, а окружность, Влад Константинович.

7.

Он прислушивался к ночной жизни улицы, пытаясь уснуть. Но сон не шел. По влажному асфальту с шелестяще-чмокающим звуком проезжали поздние автомобили. Загулявший прохожий, чья фигура выписывала на тротуаре опасные зигзаги, что-то кричал им вслед, чем-то грозил. На его голос откликнулись хриплым влзлаиванием бездомные псы, обживавшие в глубине двора детскую площадку. Днем Влад видел, как под мелко морозящим апрельским дождем их кормила бабка в просторном бледно-розовом пальто, похожем на халат. Псы вились вокруг

нее, на лету хватая куски хлеба. Самый шустрый, поджарый и черный, даже подпрыгивал. Где-то Влад его уже видел. Нет, не здесь. Ну да, вспомнил, он похож на Настинного Черныша, тот так же юлой крутился у ее ног, там, в деревне Цаплино, когда они собрались на реку.

С того летнего дня еще не прошло и года, а кажется — то, что там с ними случилось, было в какой-то другой жизни. Да, было. Но отодвинулось. Ушло. Заволакивает его дымка прошлого, стирает подробности. Хотя нет, не все. Вон проступает сквозь туман Настинно лицо, залитое слезами. Да, там, на берегу, перед тем, как прыгнуть с ней в речку, он наконец позвонил жене, и Настя поняла, что ночь на террасе, под шелест листвы старого осокоря, была случайным в его жизни эпизодом. И в Москве, на съемной квартире, все повторилось. Это лицо. Эти слезы. Только здесь, в Москве, она уже не деревенская девчонка. Начинающая актриса. «Тень от чьей-то тени». Наивно надеявшаяся, что он уйдет от Елены.

Его все-таки повело в сон. В пестроту солнечных пятен на лесистом склоне холма. В траву, поющую звоном кузнечиков. Легкие облака плыли навстречу, из-за реки, где синел зубчатой полосой плавневый лес. Облака смеялись. Или это смеялась Настя — оттуда, из той, прошлой жизни? Вот она протянула руки. Вот, перестав смеяться, стала медленно таять. Ее лицо разъедал облачный туман, она тонула в нем, что-то крича. Нет, он не слышал ее голоса, но точно знал: она зовет его. И он пошел к ней. Очень медленно. Потом побежал. Но руки и ноги вязли в чем-то, он не бежал, а плыл, плыл вдоль реки, всматриваясь в сумрачные ее берега, в мелькающие там тени. Да, конечно, вон та тень — Настя. Она тянет к нему руки, но река не отпускает его. Он тонет. Он кричит. Но Настя не слышит. И он кричит снова и снова. И чувствует на своем плече руку — его трясут, ему говорят:

— Ну, что с тобой? У тебя что-то болит? Ну, проснись же!

Он проснулся. Его разбудила Елена, прибежав из своей комнаты. В ночнушке. Непричесанная. Включила настенную лампу.

— Ты звал Настю... Что с ней?..

— Не знаю.

— Так позвони. Узнай.

— Я звонил. Ее нигде нет.

— Как это нет?

— Она отключила телефон.

Елена помолчала, всматриваясь в лицо мужа.

— Вы с ней поссорились? Ты ее так любишь?

— Я люблю тебя.

— А зовешь ее.

— Потому что не знаю, что с ней.

— Значит, любишь.

Не стал возражать Влад. Признался:

— И без тебя, и без нее я теперь не представляю своей жизни.

— Так не бывает.

— Значит, бывает.

Елена вздохнула.

— Из этого следует только одно: у нас наступают тяжелые времена.

Она понимала: Влад не может от нее уйти. Для него это все равно что уйти от самого себя. От прожитой вместе жизни. Обесмыслить ее. То есть — убить себя. И — не только себя. Зная все это, она никогда не ревновала Влада ни к его журналистской работе, не знавшей выходных, ни к увлечениям людьми, которым он помо-

гал в трудных ситуациях. Однажды в юности, приняв Влада таким, она не пыталась его переделать. Вникая в его лихорадочно-конфликтную жизнь, никогда не навязывала своего мнения, лишь обозначая его. Не ревновала Влада и к Насте, потому что в этой его привязанности видела привычную для него страсть — «*делать эту судьбу*». Обычно — страсть непродолжительную. Похоже — в этом случае Елена ошиблась.

У Влада же сейчас было ощущение, будто он заново открывает самого себя... Никогда, ни при каких обстоятельствах ему не приходила в голову мысль о возможности другой семейной жизни. Другая жена? Другая дочь (или — сын)? А куда деть все то, что уже есть? В архив? Нет такого архива! Есть душа, а в ней все пережитое живо, пока жив человек. Так думал журналист Степницкий до сегодняшней ночи, когда оказалось, что в его душе возникло место для Насти. Без которой ему плохо. Очень плохо! Так плохо, что он признался в этом Елене. Женщине, с которой прожил тридцать лет и без которой не представляет своей жизни. Как совместить их, этих двух женщин, в одной душе?

А на следующий день утром, когда Влад допивал у окна свой кофе, разглядывая бегущие к школе фигурки с ранцами за спиной, запел его мобильник. Ранним утром ему обычно звонил юрист-разработчик Сидякин. Но это был не он. В трубке звучал голос Насти — звучал издали, будто с другой планеты. Пожалуй, почти так оно и было: Настя звонила, сквозь ватную слышимость, из владимирской деревни Цапдино, где жила у родителей третью неделю.

— Тут у нас нехорошие новости... Помните соседа нашего, Семен Потапыча, он вам про местные безобразия рассказывал?.. Умер. От инфаркта.

Влад вспомнил шуплого старичка в совиных очках и поношенном пиджаке, дом с цветочной клумбой у крыльца, книжные полки с портретом Достоевского и пожелтевшие вырезки статей — его, Степницкого, статей — на круглом столе под абажуром. Старик коллекционировал публикации прошлых лет и писал сам в местные газеты критические заметки.

— К нему ночью какие-то громилы ворвались, порушили книжные полки, сожгли в печке все его записи. А когда ушли, он к нам пришел — мы «скорую» вызвали. Но он ее не дождался...

— В полицию сообщили?.. Повод-то у громил какой был? Что они от Семен Потапыча требовали?

— Чтоб не слал по редакциям заметки... А он недавно в районку и в Москву отправил статью про кандидата в депутаты, про нашего богача Ивантеева. Помните его дачу с колоннами, на краба похожую? Я вам ее показывала, когда мы на реку ходили...

— Конечно, помню. Я все помню. Почему не позвонила, уезжая? Что-нибудь с родителями?

— Потом объясню... И мобильник барахлил... В местную полицию обращаться бесполезно... Сделайте что-нибудь, ведь обидно за Семен Потапыча!.. Он же всю правду писал...

— И все-таки, Настя, что с тобой случилось?.. Ты бросила училище?.. Почему?

— Нет-нет, там все в порядке. Я, наверное, скоро вернусь...

Она не успела попрощаться — связь прервалась. Влад стоял у окна с замолчавшим мобильником в руке, не зная, то ли пытаться перезвонить Насте и что-то еще уточнить, то ли срочно сообщить юристу Сидякину о том, как соратники Валерия Власовича готовятся к выборам. Сказал Елене, убиравшей со стола посуду:

— Нашлась... В деревне, оказывается... У родителей.

— Ну, вот видишь... Все прояснилось. Или — почти все.

8.

«Скорую» пришлось вызывать в двенадцатом часу ночи. Елена долго не соглашалась, а потом уже не было выбора: приступы удушья стали повторяться. В машине ей дали кислородную подушку, заставили лечь. Ехали, как Владу казалось, бесконечно долго, хотя московские улицы уже освободились от пробок и больница была недалеко — на Таганке. Влад сидел рядом, унимая внутреннюю дрожь, пытался держать жену за руку. Рука вяло сопротивлялась. Хорошо, что уговорил дочь не ехать, рассеянно думал он, Ксюха чересчур возбудима, а эмоции сейчас не нужны.

Ночные улицы в желтом свете фонарей влажно блестели после небольшого дождя. Натужно гудели полупустые троллейбусы. Маячили редкие прохожие. Куда-то ведь идут так поздно. Куда? Зачем? Влад улицей отвлекал себя от безысходного вопроса: почему это случилось? И — так внезапно?.. Знал: Елена не любит ходить по врачам, да и острой надобности до сих пор не было. Но он-то, он мог заметить приближение неблагополучия — по ее лицу, по дыханию. Насторожиться. Заставить показаться врачам. Нет, не мог... Некогда ему, видите ли... Зачумлен деловой круговертью... И — сердечной смутой... Ведь наверняка Еленино неблагополучие ускорили его недавние откровения о Насте...

В приемном покое врач долго изводил Елену вопросами, прослушивал дыхание, считал пульс. И что-то без конца писал. «Как много врачи пишут, — думал Влад. — Это же — многотомные романы о легкомыслии и бедах человеческой плоти!..» Дыхание у Елены стало выравниваться. Пришла медсестра, повела в палату. Влад с сумкой шел сзади. Палата на шесть коек, одна не занята. У дверей! Неужели нельзя «не у дверей»? Нельзя, устало говорит медсестра. Больница заполнена «под завязку».

— Вы идите домой, идите, вылечим вашу жену! Сейчас ей лекарство дадим. Придете завтра, а пока идите.

— Иди, — сказала Елена, — мне уже лучше.

Он вышел на безлюдную улицу. Остановился. Нет, никуда он отсюда не уйдет. Он должен вернуться, чтобы быть где-то близко. У приоткрытых дверей палаты, на стуле. А нет стула — на полу. Прислонившись к стене. Вдруг Елена захочет пить, а постовая медсестра, сидящая за стойкой в коридоре, не услышит ее голоса?.. Ведь нет над кроватью кнопки вызова, он присматривался — нет!.. Влад понимал: его мучает воспаленное воображение. Потому что впервые за тридцать лет он вот так расстается с женой. И сейчас нужно заставить себя уйти. Но — не мог шевельнуться.

Запел мобильник, это вывело его из ступора. Звонила дочь. Да, мама в палате. Ей лучше, дыхание ровное. Как я доберусь? Пешком до метро. Оно закрыто? Я не посмотрел на часы. Нет, не надо Олегу ехать за мной на своем автомобиле, я поймаю такси. Или — левака. Да, конечно, завтра позвоню.

Он шел к метро мимо зданий старой Москвы — чугунные витые ограды, сумрачно белеющие колонны, продолговатые стрельчатые окна, широкие подъезды с мраморными ступенями. Шел один. Слышал свои шаги. Казалось, это были единственные звуки, подтверждающие, что здешний район Москвы обитаем. И было ему так одиноко, будто не говорил только что с дочерью по телефону.

Вспомнилось... В той жизни, когда у них еще не было Ксюхи, ездили они к знаменитой в те годы бабке Ульяне, в вологодскую глухомань — смотреть ее глиняные игрушки, выставявшиеся в Париже. Увлеклись. И по его недосмотру пропустили

последний автобус в Каргополь. Оказались на лесной дороге одни — Елене тогда девятнадцать, ему двадцать пять, год как женаты. Вышли из Ульяниной деревеньки (три жилых дома, семнадцать километров до Каргополя) ближе к вечеру. С обеих сторон дороги — таежный лес, брошенные полусгнившие дома, болотистые низины. Безлюдье. Тишина. Сумерки.

Бабка Ульяна, уговаривая остаться ночевать, пугала их побегими заключенных из местных лагерей. Не испугались. И теперь шли, всматриваясь в лесные тени: не шевельнуться ли? Оба думали: может, вернуться к бабке? Но — молчали. И чем дальше отходили от ее деревеньки, тем решительнее был их шаг. Влад спрашивал себя про идущую рядом жену — боится, наверное? Но ведь молчит! Досадовал на себя: ну, как это он проморгал автобус? Для Влада тогда (да и много позже) жена была еще и ребенком, требующим опеки, ведь он старше, он муж!.. А тут сгущаются сумерки на безлюдной лесной дороге, и муж ничего с этим не может поделать... Когда наконец лес расступился и в синих сумерках низины блеснули живые теплые огоньки Каргополя, где молодоженов дожидался двухместный номер в гостинице, Влад признался Елене: «А ты у меня отважная! Ни разу не пискнула!..» — «Ты у меня — тоже!» — засмеялась она.

Теперь, вспоминая пустынную ночную дорогу в тайге, он думал: вся наша жизнь — как те семнадцать километров. Ведь мы так же идем, не признаваясь друг другу в своих предчувствиях и страхах. Идем, оберегая друг друга. Чувствуя душевные скрепы, навсегда соединившие нас. Зная, что в тяжелую минуту мы рядом.

А сейчас Елена там, в душевной палате, с грозящими ей новыми приступами. Я же здесь, на этой безлюдной улице старой Москвы, и ничего не могу для Елены сделать. И душевные мои скрепы звенят в тоске...